





## ТЭФФИ

### КАК Я СТАЛА ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ

**К**ак я начала свою литературную деятельность? Чтобы ответить на этот вопрос, надо «зарыться в глубь веков». В нашей семье все дети писали стихи. Писали втайне друг от друга стихи лирические, сочиняли вместе стихи юмористические, иногда экспромтные.

Помню как сейчас: входит самая старшая сестра в нашу классную комнату и говорит:

— Зуб заострился, режет язык.

Другая сестра уловила в этой фразе стихотворный размер, подхватывает:

— К этакой боли я не привык.

Тотчас все настраиваются, оживляются.

— Можно бы воском его залечить.

— Но как же я буду горячее пить? — спрашивает чей-то голос.

— И как же я буду говядину жрать? — раздается из другого угла.

— Ведь не обязаны все меня ждать! — заканчивает тоненький голосок младшей сестры.

Стихи сочиняли мы все. Конечно, и я.

Но в первый раз увидела я свое произведение в печати, когда мне было лет тринадцать.

Это была ода, написанная мною на юбилей гимназии, в которой я в то время училась.

Ода была чрезвычайно пышная. Заканчивалась она словами:

И пусть грядущим поколениям,  
Как нам, сияет правды свет,  
Здесь, в этом храме просвещения,  
Еще на много, много лет.

Вот этим самым «храмом просвещения» дома донимала меня сестра.

— Надя! Лентяйка! Что же ты не идешь в свой храм просвещения? Там сияет правды свет, а ты сидишь дома! Очень некрасиво с твоей стороны.

Допекали долго.

Таков был мой самый первый шаг на литературном поприще.

Второй шаг был таков: сочинили мы с сестрой пресмешную песенку о Фульском короле, пародию на песню Маргариты из «Фауста».

Решили ее напечатать.

Совсем сейчас не помню, что это была за редакция, куда мы пошли. Помню только, что над головой редактора висело на стене птичье чучело.

Это поразившее наше воображение обстоятельство отразилось в стихах:

Над редактором висело  
Птичье чучело,  
На редактора глядело,  
Глаза пучило.

Стихотворения нашего редактор не принял и все спрашивал: «Кто вас послал?» А потом сказал: «Передайте, что не годится». Очевидно, не верил, что две испуганные девочки, которых ждала в передней старая нянюшка, и есть авторы.

Таков был мой второй шаг.

Третий, и окончательный, шаг был сделан, собственно говоря, не мной самой, а, если так можно выразиться, за меня шагнули.

Взяли мое стихотворение и отнесли его в иллюстрированный журнал, не говоря мне об этом ни слова. А потом принесли номер журнала, где стихотворение напечатано, что очень меня рассердило. Я тогда печататься не хотела, потому что одна из моих старших сестер, Мирра Лохвицкая,

уже давно и с успехом печатала свои стихи. Мне казалось чем-то смешным, если все мы полезем в литературу. Между прочим, так оно и вышло. Кроме Мирры (Марии), другая моя сестра, Варвара, под псевдонимом Мюргит, помещала свои очерки в «Новом времени», а пьесы ее шли в «Кривом Зеркале», а самая младшая, Елена, тоже оказалась автором нескольких талантливых пьес, шедших в разных театрах.

Итак — я была недовольна. Но когда мне прислали из редакции гонорар — это произвело на меня самое отрадное впечатление. Впечатление это я пожелала повторить и написала целый фельетон в стихах, в котором с веселой беззастенчивостью молодого языка хватала зубами за самые торжественные ноги, шествующие по устланному вянущими лаврами пути.

О фельетоне заговорили. Кто смеялся, кто возмущался, кто ликовал. Был «бум». Редакция попросила продолжать. Большая газета пригласила сотрудничать. Остальное ясно.

*Тэффи.*

## ВЗАМЕН ПОЛИТИКИ

Сели обедать.

Глава семьи, отставной капитан с обвисшими, словно мокрыми, усами и круглыми, удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что вытащили из воды и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и никто из семьи не смущался этим.

Посмотрев с неммым изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанмавшего у них комнату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил:

— А где же Петька?

— Бог их знает, где они валандаются, — отвечала жена. — В гимназию палкой не выгонишь, а домой калачом не заманишь. Балует где-нибудь с мальчишками.

Жилец усмехнулся и вставил слово:

— Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они.

— Э, нет, миленький мой, — выпучил глаза капитан. — С этим делом, слава богу, покончено. Никаких разговоров,

никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. Вот, придумаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам, к стыду России, куда-нибудь за границу.

— А что же вы изволите изобретать?

— Да еще наверное не знаю. Что-нибудь да изобрету. Господи, да мало ли еще вещей не изобретено! Ну, например, скажем, — изобрету такую какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро, в положенный час, аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и разбудит. А?

— Папочка, — сказала дочь, — да ведь это просто будильник.

Капитан удивился и замолчал.

— Да, вы, действительно, правы, — тактично заметил жилец. — От политики у нас у всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, что мысль отдыхает.

В комнату влетел краснощекий третьеклассник-гимназист, чмокнул на ходу щеку матери и громко закричал:

— Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка.

— Господи помилуй! С ума сошел! Где тебя носит? Чего к обеду опаздываешь? Вон и суп холодный.

— Не хочу супу. Отчего не гимн-африка?

— Ну давай тарелку: я тебе котлету положу.

— Отчего кот-лета, а не кошка-зима? — деловито спросил гимназист и подал тарелку.

— Его, верно, сегодня выпороли, — догадался отец.

— Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? — запихивая в рот кусок хлеба, бормотал гимназист.

— Нет, видели вы дурака? — возмущался удивленный капитан.

— Отчего бело-курый, а не черно-петухатый? — спросил гимназист, протягивая тарелку за второй порцией.

— Что-о? Хоть бы отца с матерью постыдился!..

— Петя, постой, Петя! — крикнула вдруг сестра. — Скажи, отчего говорят д-верь, а не говорят д-сомневайся? А?

Гимназист на минуту задумался и, вскинув на сестру глаза, ответил:

— А отчего пан-талоны, а не хам-купоны!

Жилец захихикал.

— Хам-купоны... А вы не находите, Иван Степаныч, что это занятно? Хам-купоны!..

Но капитан совсем растерялся.

— Сонечка! — жалобно сказал он жене. — Выгони этого... Петьку из-за стола! Прошу тебя, ради меня.

— Да что ты, сам не можешь, что ли? Петя, слышишь? Папочка тебе приказывает выйти из-за стола. Марш к себе в комнату! Сладкого не получишь!

Гимназист надулся.

— Я ничего худого не делаю... у нас весь класс так говорит... Что ж, я один за всех отдувайся!..

— Ничего, ничего! Сказано — иди вон. Не умеешь себя вести за столом, так и сиди у себя!

Гимназист встал, обдернул курточку и, втянув голову в плечи, пошел к двери.

Встретив горничную с блюдом миндального киселя, всхлипнул и, глотая слезы, проговорил:

— Это подло — так относиться к родственникам... Я не виноват... Отчего вино-ват, а не пиво-ват?!

Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала:

— Я могу сказать, отчего я вино-вата, а не пиво-хлопок.

— Ах, да уж перестань хоть ты-то! — замахала на нее мать. — Слава богу, не маленькая...

Капитан молчал, двигал бровями, удивлялся и что-то шептал.

— Ха-ха! Это замечательно, — ликовал жилец. — А я тоже придумал: отчего живу-зем, а не помер-зем. А? Это, понимаете, по-французски. Живузем. Значит «я вас люблю». Я немножко знаю языки, то есть сколько каждому светскому человеку полагается. Конечно, я не специалист-лингвист...

— Ха-ха-ха! — заливалась дочка. — А почему Дуб-ро-вин, а не осина-одинакова?..

Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внимательное, словно она к чему-то прислушивалась:

— Постой. Сашенька! Постой минутку. Как это... Вот опять забыла...

Она смотрела на потолок и моргала глазами.

— Ах да! Почему сатана... нет — почему дьявол... нет, не так!..

Капитан уставился на нее в ужасе.

— Чего ты лаешься?

— Пстой! Пстой! Не перебивай. Да! Почему говорят чертить, а не дьяволить?

— Ох, мама! Мама! Ха-ха-ха! А отчего «па-поч-ка», а не...

— Пошла вон, Александра! Молчать! — крикнул капитан и выскочил из-за стола.

Жильцу долго не спалось. Он ворочался и все придумывал, что он завтра спросит. Барышня вечером прислала с горничной две записки. Одну в девять часов: «Отчего обни-мать, а не обни-отец?» Другую — в одиннадцать: «Отчего руб-ашка, а не девяносто девять копеек-ашка?»

На обе он ответил в подходящем тоне и теперь мучился, придумывая, чем бы угостить барышню завтра.

— Отчего... отчего... — шептал он в полудремоте. Вдруг кто-то тихо постучал в дверь.

Никто не ответил, но стук повторился. Жилец встал, закутался в одеяло.

— Ай-ай! Что за шалости! — тихо смеялся он, отпирая двери, и вдруг отскочил назад.

Перед ним, еще вполне одетый, со свечой в руках стоял капитан. Удивленное лицо его было бледно, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови.

— Виноват, — сказал он. — Я не буду беспокоить... Я на минутку... Я придумал...

— Что? Что? Изобретение? Неужели?

— Я придумал: отчего чер-нила, а не чер-какой-нибудь другой реки? Нет... у меня как-то иначе... лучше выходило... А впрочем, виноват... Я, может быть, обеспокоил... Так — не спалось — заглянул на огонек...

Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился.

## ТРИ ПРАВДЫ

Что рассказывала Леля Перепегова.

— Вы ведь знаете, что я никогда не лгу и ничего не преувеличиваю. Если я ушла от Сергея Ивановича, то, значит, действительно жизнь с ним становится невыносимой. При

всей моей кротости я больше терпеть не могла. Да и зачем терпеть? Чего ждать? Чтобы он меня зарезал в припадке бешенства? Мерси. Режьтесь сами.

В воскресенье пошли обедать в ресторан. Всю дорогу скандалил, зачем взяла Джипси с собой. Только, мол, руки оттягивает, и то, и се, и пятое, и десятое. Я ему отвечаю, что если и оттянет руки, так мне, а не ему, так и нечего меня с грязью смешивать. И зачем было заводить собаку, если всегда оставлять ее дома? Надулся и замолчал.

Но это еще не все.

Приходим в ресторан. Садимся, конечно, около дверей. Люди находят хорошие места, а мы почему-то либо у дверей, либо у печки. Я вскользь заметила, что все это зависит от внимательности кавалера. Не прошло и пяти минут, как он говорит: «Вот освободилось хорошее место, перейдем скорее».

«Нет, — говорю, — мне и здесь отлично».

Потому что я прекрасно понимала, что пересадку он затеял исключительно потому, что против меня оказался прекрасный молодой человек. Все на меня поглядывал и подвигал — то перец, то горчицу. Видно, что из хорошего общества. Ел цыпленка.

Я совершенно не перевариваю ревности. Закатывать сцены из-за того, что вам подвинули горчицу! На это уж ни одна Дездемона не пойдет.

— Мне, — говорю, — и здесь отлично.

Надулся. Молчит.

Однако смотрю — вторую бутылку вина прикончил.

— Сережа, — говорю, — тебе же ведь вредно!

Озлился, как зверь.

— Избавьте меня от вашего вмешательства и вульгарных замечаний.

О его же здоровье забочусь, и меня же оскорбляют.

Смотрю — требует третью. Это значит, чтобы меня наказать и подчеркнуть свое страдание. Ладно. Вышли из ресторана.

— Сережа, — говорю, — может быть, ты возьмешь на руки Джипса, я что-то устала.



А он как рявкнет:

— Я ведь так и знал, что этим кончится! Ведь просил не брать! Терпеть не могу. Выступаешь, как идиот, с москвой на руках.

Я смолчала. Опять не ладно.

— Чего, — кричит, — ты молчишь, как мегера.

У него только и есть. Молчу — мегера, смеюсь — гетера. Только и слышишь что древнегреческие обидности.

Идем. Ташу Джипси. Сердцебиение, усталость — однако молчу, кротко улыбаюсь.

Смотрим — по тротуару, напротив ресторана, шагает Кирпичев. Ну чем я виновата? Я его не предупреждала, что будем здесь.

Сергей Иванович, положим, смолчал. Но такое молчание хуже всякого скандала.

Поздоровались, пошли вместе. Ну тут он и начал свои фортели. То сзади плетется, то на три версты вперед убегает. Не могу, мол, идти так медленно. Да и нельзя, мол, весь тротуар занимать. А потом и совсем исчез.

Я вне себя от волнения. Кирпичев меня утешает, хотя сам исстрадался — худеет, бледнеет, ничего не ест. Молчит о чувстве своем, но догадаться нетрудно. Но с ним так легко говорится, приятно, интеллигентно. А с Сергеем Ивановичем так: либо ругаюсь, либо молчу, как какая-нибудь Юдифь с головой Олоферна.

Кирпичев довел меня до дому.

Пришла, жду, жду. Сергей Иванович явился только через час.

— Где вы были?

— Так, немножко прошелся.

А сам отворачивается. Наверное, шагал как идиот и обдумывал план самоубийства. Я не перевариваю ревности. Я собралась с духом и сказала ему прямо:

— Сергей Иванович, я вам должна одно сказать: во-первых...

А он как заорет:

— Если одно, так и говорите одно, а не заводите во-первых, да в-четвертых, да в-десятых на всю ночь. А я, — гово-

рит, — вам прямо скажу — все это мне надоело, и я завтра же съезжаю. А сейчас прошу дать мне выспаться.

И завалился. Слышу храп. Притворяется нарочно, будто спит. Всю ночь притворялся, утром притворился, будто выспался, уложил чемодан и ушел.

Я знаю, что от ревности человек на все готов, но чтобы при этом еще так не владеть собою... Не знаю, что еще меня ждет. Кирпичев поклялся защитить меня от безумца.

Что рассказывал Сергей Иванович.

— Итак, значит, пошли мы в ресторан. Взяли с собой собачонку. Умолял не брать — нет, взбеленилась, и никаких. Сразу испортила настроение. Но, однако, смолчал.

В ресторане — вечная история — куда ее ни посади, то ее печет, то на нее дует. Но я дал себе слово сдерживаться. Вижу, освободилось место, и предлагаю самым ласковым тоном пересесть. И вдруг в ответ перекошенная физиономия и змеиный шип:

— Мне и тут ладно.

Ладно так ладно. Мне наплевать. Умолять и в ногах валяться не стану. Молчу. Ем. Вино, кстати, там недурное.

Увидела, что я пью с интересом, и прицепилась. Тут уж я вскипел. Что, вообще, эти дурищи думают?

Для чего человек в ресторан ходит — зубы чистить, что ли? Человек ходит для того, чтобы есть и поедаемое запивать. Вот для чего. Их идеал, чтобы человек смотрел, как она ест, а сам бы пожевал вареную морковку, запил водичкой, как заяц, и все время говорил бы комплименты. Куда как весело!

Вышли из ресторана — так и знал — тычет мне на руки свою моську. Ведь предупреждал! Ведь просил! Действительно, возмутительно!

Встретили какого-то болвана Скрипкина или что-то в этом роде. Воспользовался случаем, чтобы удрать. Жажда безумная. Выпил пива. Эта дурища, между прочим, твердит, как дятел, что вино жажды не утоляет. Объяснял идиотке, что жажда есть потребность жидкости, а вино есть жидкость. А она говорит, что селедочный рассол тоже жидкость, однако жажды не утолит.

Я ей на это резонно отвечаю, что, если она истеричка, надо лечиться, а не бросаться на людей.

Вернулся домой — вижу, приготовилась скандалить.

Пресек сразу:

— Завтра уезжаю.

И лег спать.

Слава богу, не догадалась, что был в бистро — старался не дышать в ее сторону.

Нет, довольно, раз мы друг друга не понимаем и говорим на разных языках.

Довольно.

Что бы рассказала Джипси.

Пошли в ресторан.

Хозяева всю дорогу лаяли.

В ресторане ели дрянь. Чужой господин ел цыпленка. Я смотрел на него, а он на меня. Если бы хозяйка на него полаяла, он дал бы косточку.

Ничего мне не попало.

На улице подошел тот, что каждый день лает с хозяйкой на прогулке и пихает меня ногой.

Хозяин убежал, а тот просунул свою лапу под хозяйкину лапу и совсем скovyрнул меня в сторону. От него пахло жареной телятиной, а сам он тихонько подтягивал, будто голодный. Потом и хозяйка стала подтягивать. Сама виновата — зачем ела артишок и рака. Дура.

Оба притворялись голодными, да меня не надуешь.

Пришли к дому и стали у подъезда друг другу морды обнюхивать.

Она, верно, первая донюхалась, что он ел телятину, оттолкнула его и ушла.

Мы уже улеглись, когда пришел хозяин. От него несло двумя литрами пива — мне чуть дурно не сделалось. Где у них нюх? Я ему твякнула в самую морду:

— Барбос!

Теперь хозяина нет, а приходит тот. Она воеет, а он твякает. А чтобы угостить шоколадом собаку, об этом, конечно, ни одному из них и в голову не придет.

Самая жестокая собачья разновидность — так называемый человек. Низшая раса, как подумаешь, что есть не ворящие в белую кость!

## ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул:

— Господа! Объявляю заседание открытым!

Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стукали линейкой по голове, кто-то собирался кому-то жаловаться.

— Господа! — закричал Тузин еще громче. — Объявляю заседание открытым. Семенов-второй! Навались на дверь, чтобы пригостишки не пролезли. Эй, помогите ему! Мы будем говорить о таких делах, которые им слышать еще рано. Ораторы, выходи! Кто записывается в ораторы, подними руку. Раз, два, три, пять. Всем нельзя, господа; у нас времени не хватит. У нас всего двадцать пять минут осталось. Иванов-четвертый! Зачем жуешь! Сказано — сегодня не завтракать! Не слышал приказа?

— Он не завтракает, он клячку жует.

— То-то, клячку! Открой-ка рот! Федька, сунь ему палец в рот, посмотри, что у него. А? Ну то-то! Теперь прежде всего решим, о чем будем рассуждать. Прежде всего, я думаю... ты что, Иванов-третий?

— Прежде всего надо лассуждать пло молань, — выступил вперед очень толстый мальчик с круглыми щеками и надутыми губами. — Молань важнее всего.

— Какая молань? Что ты мелешь? — удивился Петя Тузин.

— Не молань, а молаль! — поправил председателя тоненький голосок из толпы.

— Я и сказал молань! — надулся еще больше Иванов-третий.

— Мораль? Ну хорошо, пусть будет мораль. Так, значит, мораль... А как это мораль... это про что?

— Чтобы они не лезли со всякой ерундой, — волнуясь, заговорил черненький мальчик с хохлом на голове. — То нехорошо, другое нехорошо. И этого нельзя делать, и того не смей. А почему нельзя — никто не говорит. И почему мы должны учиться? Почему гимназист непременно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не говорится. Пусть

мне покажут такой закон, я, может быть, тогда и послушался бы.

— А почему тоже говорят, что нельзя класть локти на стол? Все это вздор и ерунда, — подхватил кто-то из написавших на дверь. — Почему нельзя? Всегда буду класть...

— И стоб позволили зениться, — пискнул тоненький голосок.

— Кричат «не смей воровать!», — продолжал мальчик с хохлом. — Пусть докажут. Раз мне полезно воровать...

— А почему вдруг говорят, чтоб я муху не мучил? — забасил Петров-второй. — Если мне доставляет удовольствие...

— А мама говорит, что я должен свою собаку кормить. А с какой стати мне о ней заботиться? Она для меня никогда ничего не сделала!..

— Стоб не месали вступать в блак, — пискнул тоненький голосок.

— А кроме того, мы требуем полного и тайного женского равноправия. Мы возмущаемся и протестуем. Иван Семенович нам все колы лепит, а в женской гимназии девчонкам ни за что пятерки ставит. Мне Манька рассказывала...

— Подожди, не перебивай! Дай сказать! Почему же мне нельзя воровать? Раз это мне доставляет удовольствие.

— Держи дверь! Напирай сильней! Приготовишки ломаются.

— Тише! Тише! Петька Тузин! Председатель! Звони ключом об чернильницу — чего они галдят!

— Тише, господа! — надрывался председатель. — Объявляю, что заседание продолжается.

Иванов-третий продвинулся вперед.

— Я настаиваю, чтоб лассуждали пло молань! Я хочу пло молань говолить, а Сенька мне в ухо дует! Я хочу, чтоб не было никакой молани. Нам должны все позволить. Я не хочу увазать лодителей, это унизительно. Сенька! Не смей мне в ухо дуть! И не буду слушаться сталших, и у меня самого могут лодиться дети... Сенька! Блось! Я тебе в молду!

— Мы все требуем свободной любви. И для женских гимназий тоже.

— Пусть не заплещают нам зениться! — пискнул голосок.

— Они говорят, что обижать и мучить другого нехорошо. А почему нехорошо? Нет, вот пусть объяснят, почему

нехорошо, тогда я согласен. А то эдак все можно выдумать: есть нехорошо, спать нехорошо, нос нехорошо, рот нехорошо. Нет, мы требуем, чтобы они сначала доказали. Скажите пожалуйста — «нехорошо». Если не учишься — нехорошо. А почему же, позвольте спросить, — нехорошо? Они говорят — «дураком вырастешь». Почему дурак нехорошо? Может быть, очень даже хорошо.

— Дулак — это холосо!

— И по-моему хорошо. Пусть они делают по-своему, я им не мешаю. Пусть и они мне не мешают. Я ведь отца по утрам на службу не гоняю. Хочет — идет, не хочет — мне наплевать. Он третьего дня в клубе шестьдесят рублей проиграл. Ведь я же ему ни слова не сказал. Хотя, может быть, мне эти деньги и самому пригодились бы. Однако смолчал. А почему? Потому что я умею уважать свободу каждого инди...юн-ди...ви-ди-ума. А он меня по носу тетрадью хлопает за каждую единицу. Это гнусно. Мы протестуем.

— Позвольте, господа, я должен все это занести в протокол. Нужно записать. Вот так: «Пратакол засе...» «Засе» или «заси»? «Заседания». Что у нас там первое?

— Я говорил, чтоб не приставали локти на стол...

— Ага! Как же записать?.. Нехорошо — «локти». Я напишу «оконечности». «Протест против запрещения класть на стол свои оконечности». Ну, дальше.

— Стоб зениться...

— Нет, врешь, тайное равноправие!

— Ну ладно, я соединю. «Требуем свободной любви, чтоб каждый мог жениться, и тайное равноправие полового вопроса для дам, женщин и детей». Ладно?

— Тепель пло молань.

— Ну ладно. «Требуем переменить мораль, чтоб ее совсем не было. Дурак — это хорошо».

— И воровать можно.

— «И требуем полной свободы и равноправия для воровства и кражи, и пусть все, что нехорошо, считается хорошо». Ладно?

— А кто украл, напиши, тот совсем не вор, а просто так себе человек.

— Да ты чего хлопочешь? Ты не слимонил ли чего-нибудь?

— Караул! Это он мою булку слопал. Вот у меня здесь слобная булка лежала: а он все около нее боком... Отдавай мне мою булку!.. Сенька! Держи его, подлеца! Вали его на скамейку! Где линейка?.. Вот тебе!.. Вот тебе!..

— А-а-а! Не буду! Ей-богу, не буду!..

— А, он еще щипаться!..

— Дай ему в молду! Мелзавец! Он делется!..

— Загни ему салазки! Петька, заходи сбоку!.. Помогай!..

Председатель вздохнул, слез со стула и пошел на подмогу.

## ПОЛИТИКА ВОСПИТЫВАЕТ

Собрался он к нам погостить на несколько дней и о приезде своем известил телеграммой.

Пошли на вокзал встречать. Смотрим во все стороны, как бы не проглядеть — давно не виделись и не узнать легко.

Вот, видим, вылезает кто-то из вагона бочком. Лицо перепуганное, в руке паспорт. Кивнул головой.

— Дядюшка! Вы?

— Я! Я! — говорит. — Только вы, миленькие, обождите, потому — я еще не обыскался.

Пошел прямо к кондуктору, мы за ним.

— Будьте любезны, — говорит, — укажите, где мне здесь обыскаться?

Тот глаза выпучил, молчит.

— Ваше дело, ваше дело. Я предлагал, тому есть свидетели.

Дяденька, видимо, обиделся. Мы взяли его под руки и потащили к выходу.

— Разленился народ, — ворчал он.

Привезли мы дядюшку домой, занимаем, угощаем. Объявил он нам с первого слова, что приехал развлекаться. «Закис в провинции, нужно душу отвести».

Стали мы его расспрашивать, как, мол, у вас там, говорят, будто бы...

— Все вздор. Все давно вернулись к мирным занятиям.

— Однако ведь во всех газетах было...

Но он и отвечать не пожелал. Попросил меня сыграть на рояле что-нибудь церковное.

— Да я не умею.

— Ну, и очень глупо. Церковное всегда надо играть, чтоб соседи слышали. Купи хоть граммофон.

К вечеру дяденька совсем развинтился. Чуть звонок, бежит за паспортом и велит всем руки вверх поднимать.

— Дяденька, да вы не больны ли?

— Нет, миленькие, это у меня от политического воспитания.оборотистый я стал человек. Знаю, что, где и когда требуется.

Лег дяденька спать, а под подушку «Новое время» положил, чтоб худые сны не снились.

Наутро попросил меня свести его в сберегательную кассу.

— Деньги дома держать нельзя. Если меня дома грабить станут — непременно убьют. А в кассе грабить станут, так убьют не меня, а чиновника. Поняли? Эх вы, дурашки!

Поехали мы в кассу. У дверей городской стоит. Дяденька засуетился.

— Милый друг! Ради бога, делай невинное лицо. Ну, что тебе стоит! Ну, ради меня, ведь я же тебе родственник!

— Да как же я могу? — удивляюсь я. — Ведь я же ни в чем не виновата.

Дядюшка так и заметался.

— Погубит! Погубит! Смейся, хоть, по крайней мере, верши что-нибудь...

Вошли в кассу.

— Фу! — отдувался дяденька. — Вывезла кривая. Бог не без милости. Умный человек везде побывать может: и на почте, и в банке, и всегда сух из воды выйдет. Не надо только распускаться.

В ожидании своей очереди дяденька неестественно громким голосом стал рассказывать про себя очень странные вещи.

— Эти деньги, друг мой, — говорил он, — я в клубе наиграл. День и ночь дулся, у меня еще больше было, да я остальное пропил. А это вот, пока что, спрячу здесь, а потом тоже пропью, непременно пропью.

— Дяденька! — ахала я. — Да ведь вы же никогда карт в руки не брали! Да вы и не пьете ничего!..

Он в ужасе дергал меня за рукав и шипел мне на ухо:



— Молчи! Погубишь! Это я для них. Все для них. Пусть считают порядочным человеком.

Из сберегательной кассы отправились домой пешком. Прогулка была невеселая. Дяденька во все горло кричал про себя самые скверные вещи. Прохожие шарахались в сторону.

— Ладно, ладно, — шептал он мне. — Уж буду не я, если мы благополучно до дому не дойдем. Умный человек все может. Он и в банке побывает, и по улице погуляет, и все ему как с гуся вода.

Проходя мимо подворотного шпика, дяденька тихо, но с неподдельным чувством пропел: «Мне верить хочется, что этих глаз сиянье!..»

Мы были уже почти дома, когда произошло нечто совершенно неожиданное. Мимо нас проезжал генерал, самый обыкновенный толстый генерал, на красной подкладке. И вдруг мой дяденька как-то странно пискнул и, мгновенно повернувшись спиной к генералу, простер к небу руки. Картина была жуткая и величественная. Казалось, что этот благородный седовласый старец в порыве неизъяснимого экстаза благословляет землю.

Вечером дяденька запросился в концерт. Внимательно изучив программу удовольствий, он остановил свой выбор на благотворительном музыкально-вокальном вечере.

Поехали.

Запел господин на эстраде какое-то «Пробуждение весны». Дяденька весь насторожился: «А вдруг это какая-нибудь эдакая аллегория. Я лучше пойду покурю».

Кончилось пение. Началась декламация. Вышла барышня, стала декламировать «Письмо» Апухтина. Дяденька сначала все радовался: «Вот это мило! Вот молодец девица. И комар носу не подточит». Хвалил, хвалил, да вдруг как ахнет. Схватил меня за руку да к выходу.

— Дяденька! Голубчик! Что с вами!

— Молчи, — говорит, — молчи! Скорей домой. Дома все скажу.

Дома потребовал от меня входные билеты с концерта, сжег их на свечке и пепел в окно бросил. Затем стал вещи укладывать. Мы просили, уговаривали. Ничто не помогло.

— Да вы хоть скажите, дяденька, что вас побудило?

— Да не притворяйся, — говорит, — сама слышала, что она сказала. Отлично слышала.

Насилу уговорили рассказать. Закрыв все двери.

— Она, — говорит, — сказала: «Воспоминанье гложет, как злой палач, как милый властелин».

— Так что же из этого? — удивляюсь я. — Ведь это стихи Апухтина.

— Что из этого? — говорит он жутким шепотом. — Что из этого? «Гложет, как милый властелин». Статья 121, вот что это из этого. Пятнадцать лет каторжных работ, вот что из этого. Идите вы, если вам нравится, а я, миленькие, стар стал для таких штук. Мне и здоровье не позволит.

И уехал.

## ПОЛИТИКА И НАУКА

Настроение в классной комнате какое-то натянутое. Второй день не дерутся.

Павлику не по себе. Он сидит над книгой и тихо похныкивает, глядя на лампу, подвешенную высоко «от греха подальше».

Борька, толстый, безбровый, хмурит лоб и зубрит по бумажке.

— Р. С. — Д. Р. П., Д. К. и Р. Д.... Нет, не Д. К., а К. — Д., К. — Д., К. — Д.

— Хм! — хнычет Павлик. — И чего ты бесишься. Все равно все знают, что у нас в приготовительном самые трудные предметы. У нас все предметы начинаются, а у вас все только повторяют. Это всем известно.

— К. — Д., К. — Д., К. — Д., — кудахтает Борька.

— Хм! Хм! Меня завтра из батюшки спросят, а я ничего не могу выучить. Вчера спросили, я все великолепно знал, а он кол влепил.

— Р. С. — Д. Р. П., Р. С. — Д. Р. П. А что же тебя спрашивали? — с легким налетом презрения кидает Борька.

— Спросили про двенадесятые праздники. Я ему почти все назвал: Пасху назвал, Вознесенье назвал, Елку назвал, Введенье назвал, Масленицу назвал...

— Дурак! Масленица не двенадесятая. Р. С. — Д. Р. П.

— Я ему все назвал, и Илью назвал, а он...

— Перестань скулить! Р. П. С. — Р... У меня революция на носу. Большевик, меньшевик, фракция, фракция, фракция... Большевик, меньшевик...

Павлик уныло посмотрел на маленький круглый Борькин нос, на котором была революция, и захныкал дальше.

— Хм! Заповеди все знаю, а он нарочно сбивает, чтобы...

— Врешь, — неожиданно обрывает Борька. — Не можешь ты всех заповедей знать.

— Нет, знаю.

— Ну, скажи, какую знаешь.

— Все знаю. И третью знаю.

— Ну, скажи, про что в третьей говорится?

— Про родителей.

— А что про родителей?

— «Да не прелюбо да сотворите» говорится. Я все знаю. А ты ничего не знаешь, ты ерунду зубришь. Латинскую азбуку.

— Эх ты, курица! Это не латинская азбука. Это мне Паша Коромысленников записал. Это, братец ты мой, фракция, а не ерунда. Паша Коромысленников не такой человек, чтоб ерундой заниматься. Он, братец ты мой...

— А что такое фракция?

— Это, братец ты мой, тебе еще рановато знать. Вот перейдешь в следующий класс, тогда... Паша Коромысленников светлая личность!

Борька глубокомысленно хмурит то место, где должны быть брови, и, понизив голос, продолжает:

— У Паши Коромысленникова чудный револьвер! Браунинг. Великолепный! Маузеровской работы. Он несколько тысяч стоит, и то без пуль. Пули покупаются отдельно. Тоже несколько тысяч. Но мы будем сами пули лить. Своего отлива прочнее. Будем копить свинец из-под Гала-Петер. Этого, конечно, мало... Ну, да там видно будет. Мне тоже придется обзавестись оружием.

— А тебе зачем? — криво усмехается Павлик. Он уже давно почувствовал уважение к брату, но еще совестно показать это.

— Я, видишь ли, братец ты мой, сделал маленькую оплошность. Может быть, ты и не заметил, но кое-кто, наверное, намотал себе на ус. Дело в том, что я вчера за обедом

брякнул во всеуслышание, что я социал-демократ. Теперь Паша Коромысленников советует мне спать с оружием. Пример Герценштейна служит ярким доказательством того, что черная сотня не пощадит никого из нас...

Павлик уже не усмехается. Глаза у него стали круглые.

— Да-с, братец ты мой, — продолжает Борька. — Дело — табак! Конечно, я мог бы, например, завтра же за обедом заявить, что я не социал-демократ, а что я принадлежу к фракции союза активных крамол, то есть борьбы (ты ведь все равно не понимаешь). Этим я бы себя спас. Но Борис Сухарев не таков, братец ты мой! Ты еще узнаешь, что такое Борис Сухарев. А теперь — засохни! Не мешай. Р. С. — Д. Р. П., Р. С. — Д. Р. П., Р. С. — Д. Р. П.

Некоторое время Павлик молча и сосредоточенно рисует чернилами рожи у себя на ногтях.

Разрисовал всю левую руку — на каждом ногте по роже. Мрачно полюбовался. Принялся за правую руку. Здесь дело не налаживалось. Павлик не умел рисовать левой рукой. Опять стало скучно. Пришлось захныкать.

— Хм... хм... Все равно хоть все на память вызубри, а он кол влепит. Я ему все Вознесенье хорошо ответил; все правильно рассказал, только заглавие спутал, сказал, что это Сретенье, а он... А Петя говорит, что если я из батюшки срежусь, так меня на второй год засадят.

— Засохни! П. П. С., П. Н. С.... У меня теперь трудное пошло. П. П. С., П. Н. С....

— Из русского разбор задал, а я не могу...

— Что ты не можешь, курица?

— Не могу пустынного.

— Какого пустынного?

— Задано «Пустынный гулял в пустыне». Пустыня — имя существительное, нарицательное... А пустынный... а пустынный — глагол?

— Глагол? — задумывается Борька. — Ну, это ты, братец, того... Как же тогда второе лицо?

— Ты пустынный... — безнадежно тянет Павлик.

— Нет, это ты, братец мой, путаешь. Это так кажется, что глагол, потому что пустынный предмет воодушевленный. А ты возьми предмет невоодушевленный. Например, стол. Что такое — стол?

— Глагол-ол...

— Вот курица! Как же будущее время, если глагол?

— Столу-у, хм...

В соседней комнате часы бьют восемь. Борька в отчаянии хватается за голову.

— Сейчас чай пить позовут, а я ни в зуб ногой. Будь товарищем, спроси меня вот по этой бумажке, только не подсказывай, я сам...

Павлик берет бумажку и, мрачно насупившись, начинает:

— Что такое К. — Д.?

— Да ты не по порядку! Ты вразбивку спрашивай. По порядку и дурак скажет.

— Что такое максималисты?

— Ну, это легко. Это те, которые в Фонарном переулке. Валяй дальше!

— Что такое П. Д. Р.?

— П. Д. Р.. П. Д. Р.. Постой, ты, верно, не так спрашиваешь. Да, П. Д. Р. Партия демократических реформ, правей К. — Д., левей С. — Д.

— Что такое Р. С. — Д. Р. П.?

— Гм... Как?

— Р. С. — Д. Р. П.

— Ты, верно, опять спутал.

— Р. С. — Д. Р. П., — настойчиво тянет Павлик.

— Пошел к черту! Мекеке! Мекеке! Туда же, берется спрашивать. Сказано, курица — ну и молчи! Давай сюда записку!

В столовой зазвенели ложки. Сейчас позовут чай пить. Скучно Павлику и тревожно. Что-то завтра будет из батюшки... И разве пустынный наверное глагол?..

Борька отдувается и фыркает: «Фракция, фракция, фракция...»

Молодчина Борька. Хорошо быть большим и умным!

## УТЕШИТЕЛЬ

Мишеньку арестовали.

Маменька и тетенька сидят за чаем и обсуждают обстоятельства дела.

— Пустяки, — говорит тетенька. — Мне сам господин околоточный надзиратель сказал, что все это ерунда. Добро

бы, говорит, студент, а то гимназист-третьеклассник. Пожучат, да и выпустят.

— Пожучить надо, — покорно соглашается маменька.

— А потом тоже, и пистолет-то ведь старый, его и зарядить нельзя. Это всякий может понять, что, не зарядивши, не выпалишь.

— Ох, Мишенька, Мишенька! Чуюло твое сердце. Он, Верушка, как эту пистоль-то завел, так сам три ночи заснуть не мог. Каждую минутку встанет да посмотрит, как эта пистоль-то лежит. Не повернулась ли, значит, к нему дыркой. Я ему говорю: «Брось ты ее, отдай, у кого взял». И бросить нельзя — товарищи велели.

— Так ведь оно не заряжено?

— Не заряжено-то оно не заряжено, да Мишенька говорит, что в газетах читал, быдто как нагреется пистоль от солнца, так и выстрелит; и заряживать, значит, не надо. В Америке быдто нагрелась, да ночью целую семью и ухлопала.

— Да солнца-то ведь ночью не бывает, — сомневается тетенька.

— Мало что не бывает. За день разогреется, а ночью и палит.

— Не спорю, а только много и врут газеты-то. Вот наемни Степанида Петровна тоже в газете вычитала, быдто на Петербургской стороне продается лисья шуба за шестнадцать рублей. Ну, статочное ли дело? Чтобы лисья шуба...

— Врут, конечно, врут. Им что!.. Им все равно. Что угодно напишут.

Дверь неожиданно с треском распахивается. Входит гимназист — Мишин товарищ. Щеки у него пухлые, губы надуты, и выражение лица зловещее.

— Здравствуйте! Я зашел... Вообще считаю своим долгом успокоить. Волноваться вам, в сущности, нечего. Тем более что вы, наверно, были подготовлены...

У маменьки лицо вытягивается. Тетенька продолжает безмятежно сплевывать вишневые косточки.

— Можете, значит, отнестись к факту спокойно. Климат в Сибири очень хорош, особенно полезен для слабогрудных. Это вам каждая медицина скажет.

Тетенька роняет ложку. У маменьки глаза делаются совсем круглыми, с белыми ободочками.

— Вот видите, как вы волнуетесь, — с упреком говорит гимназист. — Можно ли так... из-за пустяков. Скажите лучше, были ли найдены при обыске компром... прометирующие личность вещи?

— Ох, господи, — застонала маменька, — пистоль эту окаянную да еще газетку какую-то!

— Газету? Вы говорите: газету? Гм... Осложняется... Но волноваться вам совершенно незачем.

— Может быть, газета-то и не к тому... — робко вмешивается тетенька. — Потому он на газету-то только глазом метнул, да и завернул в нее пистолет. Может быть...

Гимназист криво усмехнулся, и тетенька осеклась.

— Гм... Ну, словом, вы не должны тревожиться. Газета. Гм... Тем более что тюремный режим очень хорошо действует на здоровье. Это даже в медицине написано. Замкнутый образ жизни, отсутствие раздражающих впечатлений — все это хорошо сохраняет... сохраняет нервные волокна... Каледонские каторжники отличаются долговечностью. Михаил может дотянуть до глубокой старости. Вам, как матерям, это должно быть приятно.

— Голубчик, — вся затряслась маменька, — голубчик! Не томи! Говори, говори все, что знаешь. Уж лучше сразу!..

— Сразу! Сразу, — всхлипнула тетенька. — Не надо нас готавливать... Мы тверды...

— Говори, святая владычица.

Гимназист пожал плечами:

— Я вас положительно не понимаю. Ведь ничего же нет серьезного. Нужно же быть рассудительными. Ну, газета, ну, револьвер. Что за беда! Револьвер, гм... Вооруженное сопротивление властям при нарушении судебной обязанности... В прошлом году, говорят, расстреляли одного учителя за то, что тот очки носил. Ей-богу! Ему говорят: «Снимите очки». А он говорит: я, мол, ничего не могу невооруженным глазом. Вот его за вооружение глаз и расстреляли. Что же касается Михаила, то само собой разумеется, что револьвер будет посерьезнее очков. Да и то, собственно говоря, пустяки, если принять во внимание процент рождаемости...

Маменька, дико вскрикнув, откидывается на спинку дивана. Тетенька хватается за голову и начинает громко выть.

В дверь просовывается голова кухарки.

— Ну, разве можно так волноваться! Ай, как стыдно! — ласково журит гимназист.

Кухарка голосит: и на ко-го ты нас...

— Ну-с, я вечером опять зайду, — говорит гимназист и, взяв фуражку, уходит с видом человека, удачно исполнившего тяжелый долг.

## СЕМЬЯ РАЗГОВЛЯЕТСЯ

— Поедьте к нам, — упрашивали знакомые, когда стали расходиться из церкви. — Поедьте, вместе разговеемся.

Но Хохловы поблагодарили и с достоинством отказывались.

— Нет уж, мы всегда дома! Уж это такой праздник — сами понимаете... Вся семья должна быть в сборе. Мы всегда дома разговляемся, все вместе, сами понимаете... И детки ждать будут, как же можно?..

Радостно, торжественно.

Колокола гудят, на улицах толпа народа.

Радостно, торжественно.

Хохлов говорит жене:

— Швейцару пять, старшему дворнику пять...

— Посмотри, какой красивый вензель на подъезде, — перебивает жена. — Надо шесть. Прибавь рубль, а то сразу начнет с квартирными приставать.

— Все равно, рублем не замажешь... Для фрейлейн что купила?

— Браслетку, — вздохнула жена. — За шесть рублей, дутая, но очень миленькая. И потом, я на коробочку попросила другую цену наклеить. Приказчик очень симпатичный, написал — двенадцать с полтиной. По-моему, это даже еще естественнее, чем, например, просто тринадцать или двенадцать. Не правда ли? Но до чего я устала со всеми этими дрызгами! Обо всех нужно подумать, а ведь я одна. Поручить некому, а у всех претензии. Глаша (вообрази себе нахальство!) подходит ко мне на днях и заявляет: «Будете для меня



подарок покупать — купите коричневого бордо на платье». Каково! И ведь прекрасно знает, что я сама коричневое ношу!

— Распущенность! Сама виновата. Не надо распускать. Приехали.

Швейцар торжественно распахнул двери.

— Христос Воскресе! С праздником, ваша милость!

Эту радостную весть первых христиан он произнес так спокойно и почтительно, словно докладывал: «Тут без вас господин приходили».

А Хохлов молча вытянул из-под отворота шубы бумажник, нахмурившись, вынул пять рублей и отдал их швейцару.

— Началось! — вздохнула жена.

Поднялись по лестнице.

На звонок отворила горничная и неестественно оживленно поздравила.

— Подарок после отдам, — сказала барыня и подумала: «И чего эта дура радуется? Воображает, кажется, что я ей коричневого купила».

В столовой ждали две девочки.

— Мама! — сказала одна. — Катя от большого кулича изюмину выколупала. Теперь там дырка.

— А Женя пасху руками трогала...

— Очень мило! Очень мило! — запела мать. — Вот как вы встречаете родителей. Вместо того чтобы похристосоваться и поздравить с праздником, вы вот как... А где ваша фрейлейн? Куда она девалась?

— Фрейлейн в гостиной, в зеркало смотрится, — отвечали девочки дуэтом.

— Час от часу не легче! Жалованье платишь, подарки покупаешь, а уйдешь из дому лоб перекрестить — и детей оставить не на кого. Фрейлейн Эмма! Где же вы?

Вошла фрейлейн с напряженно-праздничным лицом. В волосах кокетливо извивалась старая, застиранная лента.

Фрейлейн сделала полупоклон, полуреверанс, то есть, склонив голову, слегка лягнула ногой под юбкой, и сказала:

— Ich gratuliere...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Я поздравляю... (нем.)

— Это очень хорошо, моя милая, — перебила ее хозяйка, — но вы также не должны забывать свои обязанности. Дети шалят, портят куличи...

У немки сразу покраснел носик.

— Я гавариль Катенько, а Катенько отвешаль, что кулиш не святой. Я не знаю русски обышай, што я могу?

— Ну, перестаньте! Об этом потом поговорим. А где Петя?

— Петя пошел к заутрени во все церкви сразу, — отвечал дуэт. — Я говорила, что мама рассердится, а он говорит, что он не просил вас, чтобы вы его рождали, и что вы не имеете права вмешиваться.

— Ах, дрянь эдакая! Ох, бессовестный! — закудахтала мать.

— В чем дело? — спросил, входя, Хохлов. — Вот вам подарок. Фрейлейн, вам браслетка. А вам, дети, — крокет.

Дети надулись.

— Какой же подарок! Крокет вовсе не подарок. Крокет еще в прошлом году обещали без всякого праздника.

— Цыц! Вон пошли! Сидите смирно или убирайтесь вон из комнаты! Не дадут отцу-матери разговеться спокойно. Где Петька?

— Во все церкви пошел... не имеете права вмешиваться... он не просил, — отвечал дуэт.

— Что такое? Ничего не понимаю. Вот я ему уши надеру, как вернется. Будет помнить! Не давать ему ни кулича, ни пасхи! Эдакая дрянь!

Хохлов сел за стол.

— Это что? Поросенок? Чего ты там в него натыкала? И к чему было фаршировать, когда я ничего фаршированного в рот не беру! Только добро портят. Муж горбом выколачивает гроши, а вы хоть бы подумали, легко ли это ему дается. Вы только сидите да фаршируете! Эдак, матушка, ты хоть миллион профаршируешь, раз в тебе нет никакой самокритики. Так тоже нельзя! Ну, к чему здесь, спрашивается, огурец лежит? Ну, кого ты думала огурцом удивить?

— Да я думала, что, может быть, Август Иванович разговеться заедет.

— Август Иваныч! Очень ты его огурцом удивишь! Одна фанаберия. Передай сюда яйца.

Хохлов треснул яйцом об край тарелки. Жидкий желток брызнул ему на жилетку и пошел по пальцам.

— Это что? А? Всмятку! Позвать сюда Мавру! Позвать сюда мерзавку, которая на Пасху яйца всмятку варит. А? Каково? Двенадцать рублей жалованья, яиц сварить не умеет!

Вошла кухарка, встала у дверей.

— Это что? А? Это крутое яйцо? А?

— Виновата-с! К нему в нутро тоже не влезешь. Кто его знает, отчего оно не сварилось... Я ведь тоже не Свят Дух!..

— Скажи лучше, что ты мне с жилеткой сделала! У меня жилет тридцать рублей стоит; я его десять лет ношу, а ты мне его в один миг уничтожила! С меня подарков требуешь, а сама меня по миру норовишь пустить! Вон! Чтоб духу твоего... Кто там звонит? Ага, Петя! Тебя-то мне и нужно! Ты как смел без спросу в церковь уйти? А? Отвечай!

— Да что ж, когда вы не пускаете! Я ведь тоже человек. У меня религиозная потребность...

— Ах ты, поросенок! Скажите пожалуйста, какие он отцу слова говорит! Отец на них работает, отец их воспитывает, одевает, обувает, ночей не спит да думает, как бы им хорошо было...

— А где подарки?

— Слушаться не хотят, а о подарках не забудут. Тебе мать коньки купила, только я их тебе не дам! Нет, братец! Ты воображаешь...

— Не надо мне ваших коньков! Кто ж к лету коньки дарит! Все только нарочно!

— Сам же всю осень ныл, что коньков нет!..

— Так это осенью было! А теперь я же вам намекал, что мне удочка нужна. Если вы отец, так вы и должны относиться по-родительски.

— Ах ты, поросенок! Вон отсюда! Ничего не получишь! Не давать ему ничего! Ни кулича, ни пасхи! Ничего!

— А, так вот же вам!

Петя шлепнул ладонью по пасхе и удрал в свою комнату.

— Пойду отдам прислуге подарки, — сказала Хохлова и встала из-за стола.

Муж остался один и долго молча жевал.

— Ну что, рады небось? — спросил он, когда жена вернулась.

— Разве их чем-нибудь обрадуешь? Даже не поблагодарили... Глаша говорит, что фрейлейн плачет.

— Чего она?

— Браслетка не нравится. Не к лицу.

— Вот дура!

— Такая миленькая браслетка. И два сердечка подвешены. Им все мало!

— Ну, вот и разговелись. Теперь можно и на боковую. Слышишь? Что это там за треск? А?

— Ничего. Это девчонки крокет ломают.

— Эдакие дряни! Вот я им ужо!!

## НЯНЬКИНА СКАЗКА ПРО КОБЫЛЬЮ ГОЛОВУ

— Ну, а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек? — спросила я у своей соседки по five o'clock'у.

— Как вам сказать!.. Если бы дело шло о воспитании меня самой, то, конечно, я была бы всецело на стороне новых веяний. Ах, это было бы так забавно. Маленькие романы... Сцены ревности за уроками чистописания, самоотверженная подсказка... Да, это очень увлекательно! Но для своих дочерей я предпочла бы воспитание по старой методе. Как-то спокойнее! И, знаете ли, мне кажется, все-таки неприятно было бы встретиться где-нибудь в обществе с господином, который когда-то при вас спрягал: «Nous avons, vous avez, ils ont»...<sup>1</sup> или еще того хуже! Такие воспоминания очень расхолаживают.

— Все это вздор! — перебила ее хозяйка дома. — Не в этом суть! Главное, на что должно быть обращено внимание родителей и воспитателей, — это развитие в детях фантазии.

— Однако? — удивился хозяин и пожевал губами, очевидно собираясь состричь.

— Finissez!<sup>2</sup> Никаких бонн и гувернанток! Никаких. Нашим детям нужна русская нянька! Простая русская нянь-

---

<sup>1</sup> Мы имеем, вы имеете, они имеют (*фр.*).

<sup>2</sup> Перестаньте! (*фр.*)

ка — вдохновительница поэтов. Вот о чем прежде всего должны озаботиться русские матери.

— Pardon! — вставила моя соседка. — Вы что-то сказали о поэтах... Я не совсем поняла.

— Я сказала, что русская литература многим обязана няньке. Да! Простой русской няньке! Лучший наш поэт, Пушкин, по его же собственному признанию, был вдохновлен нянькой на свои лучшие произведения. Вспомните, как отзывался о ней Пушкин:

«Голубка дряхлая моя... голубка дряхлая моя... сокровища мои на дне твоём таятся...»

— Pardon, — вмешался молодой человек, приподняв голову над сухарницей, — это, как будто, к чернильнице...

— Что за вздор! Разве чернильница может нянчить. А все эти дивные произведения! «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», — ведь всему этому научила его нянька!

— Неужели и «Евгений Онегин»? — усомнилась моя соседка.

— Удивительно! — мечтательно сказал хозяин дома. — Такая дивная музыка... И все это нянька!

— Finissez! Только теперь я и чувствую себя спокойно, когда взяла к детям милую старушку. Она каждый вечер рассказывает детям свои очаровательные сказочки.

— Да, но, с другой стороны, излишняя фантазия тоже вредна! — заметила моя соседка. — Я знала одного дантиста... Так он ужасно много о себе воображал... То есть я не то хотела сказать...

Она слегка покраснела и замолчала.

— А сколько возни было с этими боннами! Была сначала швейцарка. Боже мой, как она нас замучила! Иван Андреич до сих пор без содрогания о ней вспомнить не может. Представьте себе, чем она нас донимала? Аккуратностью. Каждое утро все оконные стекла зубной щеткой чистила. Порядки завела прямо необыкновенные. Заставила в три часа обедать, а ужинать совсем запретила. Иван Андреич стал в клуб ездить, а я, потихоньку, к Филиппову бегала пирожки есть. Теперь положительно сама не понимаю, как она такую власть над нами забрала. Прямо пикнуть не смели!

— Говорят, есть такие флюиды... — вставил хозяин, сделав умное лицо.

— Finissez! Наконец избавились от нее. Взяла немку. Все шло недурно, хотя она сильно была похожа на лошадь. Отпустишь ее с детьми гулять, а издали кажется, будто дети на извозчике едут. Не знаю, может быть, другим и не казалось, но мне, по крайней мере, казалось. Каждый может иметь свое мнение. Тем более, я — мать.

Мы не спорили, и она продолжала:

— Прихожу я раз в детскую, вижу — Надя и Леся укачивают кукол и какую-то немецкую песенку напевают. Я сначала даже обрадовалась успеху в немецком языке. Потом, как прислушалась, — Господи, что такое! Ушам своим не верю. «Wilhelm schlief bei seiner neuen Liebe!»<sup>1</sup> — выводят своими тоненькими голосками. Я прямо чуть с ума не сошла.

В комнату вошла горничная и что-то доложила хозяйке дома.

— А-а! Вот и отлично! Теперь шесть часов, и няня сейчас начнет рассказывать детям сказку. Если хотите, господа, полюбоваться на эту картинку в жанре... в жанре... как его? Их еще два брата...

— Карл и Франц Мор, — подсказал молодой человек.

— Да, — согласилась было хозяйка, но тотчас спохватилась: — Ах нет, на «Д»...

— Решке, что ли? — помог муж.

— Finissez! В жанре... в жанре Маковского.

— Так вот — картинка в жанре Маковского. Я всегда обставляю это так фантастично. Зажигаем лампадку, няня садится на ковер, дети вокруг. C'est poetique<sup>2</sup>. Так что же, — пойдете?

Мы согласились, и хозяйка повела нас в кабинет мужа и, тихонько приоткрыв дверь в соседнюю комнату, знаком пригласила нас к молчанию и вниманию.

В детской действительно было полутемно. Горела только зеленая лампадка. И тихо. Скрипучий старушечий голос прорывался сквозь шамкающие губы и тягуче рассказывал:

— «В некотором царстве, да не в нашем государстве, жил-был старик со старухой, старые-престарые, и детей у них не было.

---

<sup>1</sup> Вильгельм спит у своей новой возлюбленной! (нем.)

<sup>2</sup> Это так поэтично (фр.).

Вот погоревал старик, погоревал, да и пошел в лес дрова рубить.

Рубит, рубит, вдруг, откуда ни возьмись, выкатилась из лесу кобылья голова.

— Здравствуй, — говорит, — папаша!

Испугался мужик, однако делать нечего.

— Какой, — говорит, — я тебе, кобылья голова, папаша!

— А такой, что веди меня к себе в избу жить.

Потужил мужик, потужил, однако видит, делать нечего. Повел он кобылью голову к себе домой.

Подкатилась кобылья голова под лавку, три года жила, пила, ела, мужика папашей звала.

Как на третий год выкатилась кобылья голова из-под лавки и говорит мужику:

— Папаша, а папаша, я жениться хочу!

Испугался мужик, однако делать нечего.

— На ком же ты, — спрашивает, — кобылья голова, жениться хочешь?

— А так что, — говорит, — иди ты во дворец и сватай за меня царскую дочку.

Потужил мужик, потужил, однако делать нечего. Пошел во дворец.

А во дворце царская дочка жила. Красавица-раскрасавица. Носик у ей востренький, а глаза маленькие, что серпом прорезаны.

И живет она богато-богатеюще.

Все-то у нее есть, что только ее душеньке угодно. Пьет она вино шампанское, ест она масло парававское, пряником непечатным закусывает. А платье на ней с тремя оборками и Манчестером отделано.

А во дворце-то палаты огромные, ни пером описать. Сам царь от стула до стула на тройке ездит.

А и слуг во дворце видимо-невидимо. В каждом углу по пятьсот человек ночует.

Стал старик царскую дочку за кобылью голову сватать.

Потужил царь, потужил, однако видит, делать нечего. Отдал дочку за кобылью голову.

Стали свадьбу играть, пошел пир горой. Поставил царь и соленого, и моченого, и жареного, и вареного, а старику подарил со своего царского плеча лапотки новехонькие да

кафтан золоченый на бумазее, стеганный, и палаты каменны, и пирога кромку.

Пошел старик к своей старухе. Стали они жить-поживать да детей наживать. По усам текло, а в рот не попало!»

— *C'est fantastique!*<sup>1</sup> — хрюкнул молодой человек, зажав рот рукой.

— Тсс! *Revenons*<sup>2</sup> в гостиную!

## ДЕМОНИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА

Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой «для цианистого кали, который ей непременно пришлют в следующий вторник», стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке.

Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу.

За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест.

— К чему?

Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большею частью она — актриса.

Иногда просто разведенная жена.

Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о котором нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать.

— К чему?

У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены глаза.

---

<sup>1</sup> Это фантастично! (*фр.*)

<sup>2</sup> Вернемся (*фр.*).



Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе:

— Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, скорее. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря.

Церковь ночью заперта.

Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но «она» уже утасла. Она знает, что она проклята, что спасенья нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф.

— К чему?

Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе.

И часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе. Она никому не читает их.

— К чему?

Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился — последнее, впрочем, не наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она наконец согласится опубликовать свои произведения. Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе.

— К чему?

А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начерченные слова: «Возвр.», «К возвр.».

— Я видел в вашем окне свет часов в пять утра.

— Да, я работала.

— Вы губите себя! Дорогая! Берегите себя для нас!

— К чему?

За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку.

— Марья Николаевна, — говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и

браслетом на руке, а не на каком-нибудь ином месте, — Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина.

Демоническая закроет глаза рукою и заговорит истерически:

— Вина! Вина! Дайте мне вина, я хочу пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я третьего дня пила и завтра... да, и завтра я буду пить! Я хочу, хочу, хочу вина!

Собственно говоря, чего тут трагического, что дама три дня подряд понемножку выпивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелиятся.

— Пьет.

— Какая загадочная!

— И завтра, говорит, пить буду...

Начнет закусывать простая женщина, скажет:

— Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки. Люблю лук.

Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит:

— Селедка? Да, да, дайте мне селедки, я хочу есть селедку, я хочу, я хочу. Это лук? Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, всего, селедки, луку, я хочу есть, я хочу пошлости, скорее... больше... больше, смотрите все... я ем селедку!

В сущности, что случилось?

Просто разыгрался аппетит и потянуло на соленькое! А какой эффект!

— Вы слышали? Вы слышали?

— Не надо оставлять ее одну сегодня ночью.

— А то, что она, наверное, застрелится этим самым цианистым кали, которое ей принесут во вторник...

Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами:

— Мне, собственно говоря, ненадолго... всего только двадцать пять рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе... я смогу...

Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными, полузакрытыми глазами:

— Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня, смотрите на меня... Я хочу — вы слышите? — я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же, — вы слышите? — сейчас же двадцать пять рублей. Я этого хочу. Слышите? — хочу. Чтобы именно вы, именно мне, именно дали, именно двадцать пять рублей. Я хочу! Я тввварь!.. Теперь идите... идите... не оборачиваясь, уходите скорей, скорей... Ха-ха-ха!

Истерический смех должен потрясть все ее существо, даже оба существа — ее и его.

— Скорей... скорей, не оборачиваясь... уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь... Ха-ха-ха!

И он «потрясется» своим существом и даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи.

— Вы знаете, она сегодня была такая странная... загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался.

— Да. Здесь чувствуется тайна.

— Может быть... она полюбила меня...

— Тайна!

## ТРОИЦЫН ДЕНЬ

Кучер Трифон принес с вечера несколько охапок свежесрезанного душистого тростника и разбросал по комнатам.

Девочки визжали и прыгали, а мальчик Гриша ходил за Трифоном, серьезный и тихий, и уравнивал тростник, чтоб лежал гладко.

Вечером девочки побежали делать к завтраму букеты: в Троицын день полагается идти в церковь с цветами. Пошел и Гриша за сестрами.

— Ты чего! — крикнула Варя. — Ты мужчина, тебе никакого букета не надо.

— Сам-то ты букет! — поддразнила Катя-младшая. Она всегда так дразнила. Повторит сказанное слово и прибавит: «сам-то ты». И никогда Гриша не придумал, как на это ответить, и обижался.

Он был самый маленький, некрасивый и вдобавок смешной, потому что из одного уха у него всегда торчал большой кусок ваты. У него часто болели уши, и тетка, заве-

довавшая в доме всеми болезнями, строго велела затыкать хоть одно ухо.

— Чтoб насквозь тебя через голову не продувало.

Девочки нарвали цветов, связали букеты и спрятали их под большой жасминовый куст, в густую траву, чтoб не завяли до завтра.

Гриша подойти не смел и приглядывался издали. Когда же они ушли, принялся за дело и сам. Крутил долго, и все ему казалось, что не будет прочно. Каждый стебелек привязывал к другому травинкой и обертывал листком. Вышел букет весь корявый и неладный. Но Гриша, точно того и добивался, осмотрел его деловито и спрятал под тот же куст.

Дома шли большие приготовления. У каждой двери прикрепили по березке, а мать с теткой говорили о каком-то помещике Катомилове, который завтра в первый раз приедет в гости.

Непривычная зелень в комнатах и помещик Катомилов, для которого решили заколоть цыплят, страшно встревожили Гришину душу. Ему чувствовалось, что началась какая-то новая страшная жизнь, с неведомыми опасностями.

Он осматривался, прислушивался и, вытащив из кармана курок от старого сломанного пистолета, решил припрятать его подальше. Вещица была очень ценная; девочки владели ею с самой Пасхи, ходили с нею в палисадник на охоту, долбили ею гнилые доски на балконе, курили ее как трубку, — да мало ли еще что, — пока не надоела и не перешла к Грише.

Теперь, в предчувствии тревожных событий, Гриша спрятал драгоценную штучку в передней, под плевальницу.

Вечером, перед сном, он вдруг забеспокоился о своем букете и побежал его проведать.

Так поздно, да еще один, он никогда в саду не бывал. Все было — не то что страшное, а не такое, как нужно. Белый столб, что на средней клумбе (его тоже удобно было колупать курком), подошел совсем близко к дому и чуть-чуть колыхался. Поперек дороги прыгал на лапках маленький камушек. Под жасминовым кустом было тоже неладно; ночью там росла, вместо зеленой, серая трава, и когда Гриша протянул руку, чтoб пощупать свой букет, что-то в глубине

куста зашелестело, а рядом, у самой дорожки, засветилась огоньком маленькая спичечка.

Гриша подумал:

— Ишь, кто-то уж поселился...

И на цыпочках пошел домой.

— Там кто-то поселился, — сказал он сестрам.

— Сам-то ты поселился! — поддразнила Катя.

В детской к каждой кровати нянька Агашка привязала по маленькой березке.

Гриша долго рассматривал, все ли березки одинаковые.

— Нет, моя самая маленькая. Значит, я умру. — Засыпая, вспомнил про свой курок и испугался, что не положил его на ночь под подушку и что мучится теперь курок один под плевальницей.

Тихонечко поплакал и заснул.

Утром подняли рано, причесали всех гладко и раскрамалили всюю. У Гриши новая рубашка пузырилась и жила сама по себе; Гриша мог бы в ней свободно повернуться, и она бы и не сворохнулась.

Девочки гремели ситцевыми платьями, твердыми и колкими, как бумага. Оттого что Троица и нужно, чтоб все было новое и красивое.

Заглянул Гриша под плевальницу. Курок лежал тихо, но был меньше и тоньше, чем всегда.

— За одну ночь чужим стал! — упрекнул его Гриша и оставил пока что на том же месте.

По дороге в церковь мать посмотрела на Гришин букет, шепнула что-то тетке, и обе засмеялись. Гриша всю обедню думал, о чем тут можно смеяться. Рассматривал свой букет и не понимал. Букет был прочный, до конца службы не развалился, и когда стебли от Гришиной руки сделались совсем теплые и противные, он стал держать свой букет за головку большого тюльпана. Прочный был букет.

Мать и тетка крестились, подкатывая глаза, и шептались о помещике Катомилове, что нужно ему оставить цыпленка и на ужин, а то засидится — и закусить нечем.

Еще шептались о том, что деревенские девки накрали цветов из господского сада и надо Трифона прогнать, зачем не смотрит.

Гриша смотрел на девок, на их корявые, красные руки, держащие краденые левкои, и думал, как бог будет их на том свете наказывать.

— Подлые, скажет, как вы смели воровать!

Дома снова разговоры о помещике Катомилове и пышные приготовления к приему.

Накрыли парадную скатерть, посреди стола поставили вазочку с цветами и коробку сардинок. Тетка начистила земляники и украсила блюдо зелеными листьями.

Гриша спросил, можно ли вынуть вату из уха. Казалось неприличным, чтобы при помещике Катомилове вата торчала. Но тетка не позволила.

Наконец, гость подъехал к крыльцу. Так тихо и просто, что Гриша даже удивился. Он ждал невесть какого грохоту.

Повели к столу. Гриша стал в угол и наблюдал за гостем, чтобы вместе с ним пережить радостное удивление от парадной скатерти, цветов и сардинок.

Но гость был ловкая штука. Он и виду не показал, как на него все это подействовало. Сел, выпил рюмку водки и съел одну сардинку, а больше даже и не захотел, хотя мать и упрашивала.

«Небось меня никогда так не просит».

На цветы помещик даже и не взглянул.

Гриша вдруг понял: ясное дело, что помещик притворяется! В гостях все притворяются и играют, что им ничего не хочется.

Но, в общем, помещик Катомилов был хороший человек. Всех хвалил, смеялся и разговаривал весело даже с теткой. Тетка конфузилась и подгибала пальцы, чтобы не было видно, как ягодный сок вьелся около ногтей.

Во время обеда под окном раздался гнусавый говорок нараспев.

— Нищий пришел! — сказала нянька Агашка, прислуживавшая за столом.

— Снеси ему кусок пирога! — велела мать.

Агашка понесла кусок на тарелке, а помещик Катомилов завернул пятак в бумажку (аккуратный был человек) и дал его Грише.

— Вот, молодой человек, отдайте нищему.